

Виктор

Кривулин

МГНОВЕННЯ ПЛОДОВ

В И И И

Густовязанный, как давленых пятна  
 ягод на слатерти белой,  
 миг, обратившийся вечностью спелой, —  
 прожитый, но возмужавший обратно!

То-то черны твои губы, черны!  
 Двух черенков золотая рогатка  
 пляшет в зубах — и минувшее сладко,  
 словно несвищенное, где без остатка  
 мы, настоящие, растворены.

Мы и не знали — два шара дробани,  
 вино-душистые бризги потока  
 времени-вишня раздавленной, сока  
 ослеплого замкнутой формой вначале,  
 полным, но влажным подобием ока,  
 окаменевшего в вечной печали.

## ЧЕРНИКА

"Земную жизнь прожил до половины.."  
перевод с итальянского

Земную жизнь прожил до середины,  
светилась память. Спрокинулся и замер  
лес, погруженный в синеву.

Из опрокинутой корзины  
струится ягоди с туманными глазами,  
из глаз скрывается в траву...

Черника - смерть! твоей стезей голубиний  
потеря в росынок росе, несладком  
твоей привкусе сырости, твой призрак наяву.

Но кровотоцит макоть сердцевини -  
прилипла к небу, стала голосами,  
с какими в памяти раздавленной янву.

## В И Н О Г Р А Д

Влюбленные заключены  
в полупрозрачные плоды огромных виноградов,  
попарно в каждой ягоде... Исцелен  
их каменный рот, и руки сплетены.  
Но в городе вина всего ньянсе сини —  
перьянье радужных кругов, перетеканье нитен.

Сферические вечера.  
В стеклярусных жилищах светосома  
ускут любовники, обнявшись одиноко,  
обвитые плечом от шеи до бедра...  
Но в городе — во сне усниного Петра  
змея вливается в расширенное око.

Чем зренье не виноград?  
Когда зияющее раздвоенное жало  
внутри зеленых ягод задрожало,  
когда вовнутрь себя вернувся взглянул —  
он только и застал, что город-ветроград  
растоптанной любви, конята и канала.

Линь остови на островах!  
Их ребри красные помолби сплани лозам,  
их лица, увлажненные паркомом,  
их ягода олаженние в устах  
раздавлены. Текут на мусорную землю.  
Но светел нар небесного стекла,  
и времени прозрачная змея  
влюбленных облегла кольцом вобития.

ГОРСА

Строят бомбеубежища.  
 Посередине дворов  
 Бетонные домики в рост человека  
 выросли вместе со мной.

Страх успокоится, सर्ापе утешится,  
 станет надбкней кров.  
 Дыхет, как луг, угловая аптека -  
 зазеленеет весной.

Валфей и тысячелистники -  
 ворох лечебных трав,  
 пахнувших городом, пахнувших доном колбасника,  
 принесёт завтрашний день,

и отворятся бетонные лестницы  
 в залитых асфальтом дворах...  
 Мы спускаемся вниз по ступенькам спасения,  
 медленно сходим под сень

гигантских цветов асфоделей,  
 тильпанов сажи и тьмы...  
 Бункер, метро или цель -  
 прекрасен, прекрасен уготованный дом!

Дети полукультуры,  
 С улыбкой жизни полудетской.  
 Не для нас ли, сплетаксь, лепные амур  
 На домах декадентских норы предреветской

сплетничает - и лукаво  
 нам пальчиком тайным грозится...  
 Слово дом вам - совсем не жильё, но словеса забавы.  
 Расползается пышно империя. Празднично гибнет держава.  
 Какни держатся чудом. Недозрительно окна косятся.

Мы тоже повесим Бердслея  
 над чугунином, базарской работы  
 станом гребенщиц нашей, эмалью-волосой пчелы Саломеи  
 наполняющей мбдом гранение комнаты-соты

Так же пусто и дико  
 станет в комнатах наших. В ползалах  
 дома, что на Героховой, красная брызжет гвоздика,  
 расплескался по стенам... И сам губернатор, гляди-ка,  
 принимает гостей запоздалых.

Милорадович, дунка,  
 Генеральским звенит перезвоном  
 многочисленных мастр - или это проезжая пушка  
 сотрясает и Троицкий мост и Дворцовый... Церковная кружка.  
 На строительстве Бокьего храма упала конейка с поллоном.

Так поминем усоющих  
 в золотистом и тучном модерне!  
 Не о них ли в чугуниных гирильнях, в усоющих,  
 льётся мбд нашей памяти, мбд наш вечерний...  
 Наших жизнью, вчерне переметых полвека назад,  
 вьются тёмные пчёлки - сосут почерневший фасад.



## К Р И С А

Не то, что совестью зовёшь, —  
 Не крыса ль с красными глазами?  
 Не крыса ль с красными глазами,  
 тайком следящая за нами,  
 как бы присутствует во всем,  
 что нечи отдало, что стало  
 воспоминашьем запоздалым,  
 раскаяньем, каменным сном?

Вот похирательница снов  
 приходит крыса, друг подполья...  
 Приходит крыса, друг подполья  
 к подпольну жителю, что болью  
 духовной мучаться готов.  
 И пасть уселюна зубами  
 пред ним как небо со звездами —  
 так совесть явится на зов.

Два уголька ручных охот,  
 мучительно впиваясь в кожу.  
 Мучительно впиваясь в кожу  
 подпольну жителю, похоту  
 на крысу. Два — Господен суд —  
 — огня. Два глаза в тьме кровенной.  
 Что боль укуса плоти грешной  
 или красиний скрытый труд.

когда писатели в Руси  
 судьба — писать под половицей!  
 Судьба писать под половицей,  
 воспеть народец остроумный  
 с багровым отблеском. Спаси  
 нас праведник! С багровым бликом,  
 в подполья сияя безымянком  
 как бы совсем на небеси!

КОМПОЗИЦИЯ

Помимо суеты, где ищут первообраз,  
 где формула души растворена во всем,  
 возможно ль жить, избрав иную область  
 помимо суеты — песка под колесом?

Вращением — следы — искривлены ступицы.  
 Всё искажает скорость, но и с ней  
 ось неподвижна, сердце не струится,  
 и в листьях осени покоя всего полней.

Всего полнее парки запустенья,  
 куда пустили нас, не выяснив родства  
 с болезнью временем, когда пусты растенья,  
 когда растут пустынные слова.

Но келья — не ответ, и улица — не отклик,  
 и ничему дуна при свете не равна  
 помимо суеты — нестройных этих строк ли,  
 отчётливых следов на мёрзлой луже сна.

Возможно ль жить, не положив границы  
 меж холодом и хрупкой кожей рук?  
 Страдательная роль певца и очевидца —  
 озноб души распространять вокруг.

Кто вовлечён в игру — столбани солянные  
 застыли при обочине мессы,  
 но кто промчался — исчезает в диме  
 ступицей, искривлённой в колесе.

Из этих двух не выбрать виновата,  
 когда я вижу: выбор совершён  
 помимо них, когда изменой брата,  
 как лихорадкой, воздух заражён.

## КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ

В тихом, еле заметном позоре  
каждодневного долженствования  
как бы нежилась Кант, если б не жило плоское море  
с плоским небом — две части коробочки-зданья!

В этом страннопримном дому  
уподобился шкафу мой дух, уподобился шкафу  
в двух кварталах от ратуши, с видом на склад и тарьму,  
с точным ходом часов или холодом точных метафор!

Что я должен? кому задолжал и когда?..  
Точно чайка вдоль серого пирса, вдоль мола,  
точно в каменных складках вода —  
бесконечный пресобраз бетонного пола —  
убегая, стоят.

Вот пакгауз просторен и пуст,  
пахнет плесенью бывшего хлеба и йодом  
бывшей крови, что змейкой из мраморных уст  
втекает на свет, на свободу.

Запрокинутый мой подбородок лежит над водой,  
и волна его лежит, и брызги — народец весёлый —  
разноцветной взлетают толпой.  
О, разбиться бы в праздник об угол, о глыбу, о голый

вистун суми! расплющенной каплей сползти  
по губам синемраморной Балтики... С горсточкой соли,  
осадавшей кристаллами города, — с горсточкой соли в горсти  
Кант выходит из дому вседневную тяжесть нести  
с потаённой свободой воли.

Мимо ратуши. Мимо дворцовой ограды.  
Мимо тортособразного замка на бледном лице,  
вдоль портовых строений, тарьмы, пиклопических ног эстакады,  
волнореза бегущего — с чёрной фигуркой в конце.

Вот и смерть недалёко. Пустой и просторный пакгауз.  
Заржавелые крылья. Кому и к чему задолжал?  
Камни, камни и камни. По камням бегу — задыхаюсь.  
Виспается соль из ладони. Кренится барочный портал,

оседает на мокрый песок, оседает  
лоскутами и пятнами нечи...  
И в холодных глазах лишь пустынное небо встает,  
лишь холодное море и голые стены.

## Н А К Р Ы Ш Е

Из брошенных кто-то, из бывших,  
не избран и даже не зван,  
живёт потихоньку на крышах  
с любовью к высоким словам.

Невидим живёт и неслышим,  
но как дуновенье одно...  
Не им ли мы только и дышим,  
когда растворим окно?

Он воздух всегда безымянный,  
бездомный всегда и пустой,  
бумаги сырой и тумана  
давно забродивший настой.

Как яблоко. Не выпить ли?.. Бродит  
по комнате. Листья скрипят.  
Неужто же и на свободе  
душе не живётся? Назад,

назад её тянет, в людскую,  
в холодного быта петлю...  
Неужто я так затоскую,  
что брошенный дом возлюблю

по выходе в небо? Кому-то  
под крышей послышится хрип -  
повешенная минута  
раскачивается, растворяя

багровый свой рот и огромный.  
И стукнется башмаки  
о краешек рамы оконной -  
то смертного сердца толчки.

Впустите же блудного сна  
хотя бы в сообщество крыс,  
хотя бы в клочок паутины,  
что над абажуром повис!

Хотя бы вся жизнь оказалась  
судорогой одной  
предсмертной - но только не хаос  
вселенной, от нас остальной!

Но только не лунная мука  
на площади, белой дотла,  
где ни человека, ни звука,  
ни даже намёка, что где-то  
дуна по-иному жила,  
чем соринкой на скатерти света.

## Г О Б Е Л Е Н Ы

Иное слово и цветные стёкла.  
 Чужие розы витражей.  
 На гобеленах времени поблекла  
 гирлянда бледная длинноволосых феи,

засох венков. Но были бы живыми —  
 всё не ждали бы здесь,  
 где платёв синий пар в серо-зелёном дыме  
 неразличим, уходит с ветром весь...

Музейных инструментов муськии  
 волноподобные тела  
 звучали бы для нас, как мёртвые куски  
 когда-то цельного ползучего стекла...

Как хорошо, что мир уходит в память,  
 но возвращается во сне  
 преображённым — с побелевшими губами  
 и голосом, подобным тишине.

Как хорошо, как тихо и просторно  
 частицей медленной волны  
 существовать не здесь — но в мире иллюзорном,  
 каким, живые, мы окружены.

Когда фабричных труб горюют кипарисы,  
 в зелёных лужайках вянься,  
 весь город облаков, разросшийся и лишний, —  
 вот остров мой и родина, и власть.

И связь моя чем призрачней, тем крепче,  
 чем протяжённей — тем сильней...  
 К тому клонится слух, что еле слышно шепчет, —  
 и молчанию времени, каналов и каннел.

К тому клонится дух, чьи выцветшие нити  
 свяжут паутиной голубой  
 и трепет бабочки, и механизм событий,  
 войну и лето, ветер и гобой.



Так бесконечно жизнь подобна коридору,  
 где втора томные шпалер  
 скрывает Божий мир, необходимый взору...  
 Да что за окнами? простенок ли? барьер?

Линь приблизительные бледные создания,  
 колеблемые воздухом своим,  
 по стенам движутся — линь мука ожидания  
 разлуку с нами скрашивает им.

Так бесконечно жизнь подобна перемене  
 застывших туч или холмов,  
 длинноволосых фей, упавших на колени  
 над кубиками черствыми донцов...

Так хорошо, что радость узнавания  
 тоску утраты оживит,  
 что невозвратный свет любви и любованья  
 когда не существует — предстоит.

## ОБРЯД ПРОЩАНИЯ

Обряд прощания. Стеклянного дворца  
текут под солнцем тающие стены.  
Всё меньше нас, всё тоньше перемены  
в погоде и в чертах лица.

Я вынужден принять условия игры  
и тактику условного пейзажа.  
Почти не ощущаемая пронаха,  
но память задаёт прощальные игры.

С красотостью, настолько явной, что  
бессильны обвинения в безвкусьи,  
воссоздаётся мир, куда вернусь я,  
не сняв сапог, не расстегнув пальто.

Вятчеватый парк. Ограда. Кар холмов  
и иершественный стол длиной до горизонта,  
где синий горед облачного фронта  
или далёких гор истаявший димок.

Итак, мотив прощанья окружён  
приличествующим — и даже слишком — фоном.  
Но стол уставлен звяканьем и звоном  
невидимых стаканов. Но смехом

обычный жест: округлена ладонь,  
приподнят локоть. Воздух волусогнут.  
Цилиндрик пустоты скинута напыль. Дрогнут,  
как декорация, едва их только тронь.

Фанерные деревья, чуть задень,  
на дуг досчатый валются со стуком,  
и холм уходит, пожираем локотом,  
и иершественный стол скряня втекает в тень.

Обряд прощания не примет красоты —  
при всей театральности он пуст и непригляден,  
и выглядит добро собраньем дур и пятен,  
стеченьем голых стен, где обомкнешь ты.

как рыцарь, над раскрытым сундуком.  
Считать потери — эврикос занятие,  
достойное и звания и платья,  
ветшающего исподволь, тайком.

Все меньше нас. Поэтому любой  
себя не назовет единственным — но многим.  
Теряя, обретая в эпилоге  
Ничто — стеклянный пол и купол над собой.

Так Леонардо в комнате зеркал  
обряд прощания довёл до высшей точки,  
где множественный образ одиночки  
в распадае и дробленьи возникал.

## Х Е Т Т

Опыт ума ограничен квадратом.  
 Шаром — душевный опыт.  
 Стеклоподобно вращается нопот,  
 на слухе-шнурке натяженьем раснатан.

Под ноги — что за линолеум шахмат —  
 под ноги молча смотреть, чередуя  
 чёрное с белым и с мёртвой живую  
 точки. О, каждый отсчитанный шаг мой,

опытом памяти ставший, в затылок  
 гудко стучит. И в угрюмом азарте  
 все города нарезать на карте —  
 груди окурков, осколки бутылок.

Палец, ведомый оскалом приборя  
 вдоль побережья Эгейского моря,  
 около Смирны споткнётся. Прямое  
 воспоминанье до Богазкёя

слух доведёт потихоньку дорогой  
 азиатской. И в хеттских уродах  
 братьев признав безъязыких, безротых,  
 братьев по опыту тьмы многоокой, —

явственно слышу (о, что б ни читали  
 в неразделённом молчании знаков!)  
 голос, который с моим одинаков —  
 шароподобную ночь начертанной.

Что же поделалась с геометризмом?  
 Плоский объём, ограниченный сферой,  
 хеттский значок на поверхности серой,  
 принадлежавшей бездетным отчизнам, —

так отойду от своих путешествий.  
 И отвернусь. И, быть может, до смерти  
 глядя на стену — и только — где чертит  
 палец, ведомый и ведомый вместе,  
 чистые формы (не думай — плин,  
 точно буддийский монах созерцая  
 мыслямой линией тонкое счастье) —

так я вернусь, отойду из-под власти  
 опыта смерти, Бггита души.

## Ф О Р М А

Какую форму примет невидим,  
когда гостей спровадит к полуночи?  
Он станет комнатой, тирьмой многоточий,  
сам за собой неуследим.

На кухню выйдя, газовой плитой  
почувствует себя - и вспыхнет и согреет  
змиевой чайник, или же, скорее,  
нальётся, как вода, гудящей теплотой.

Нет, книгу он раскроет, раздробясь  
на праздничную множественность литер, -  
но кто его прочтёт и кто с ним станет сыттен?  
с кем он войдёт в мистическую связь?

Да, книгу он отложит. Да, глаза  
покроет плесень древней полудрёмы.  
И сам себе уже полузнакомый,  
он вынадет из мира, как слеза.

В том-то и дело: тому, кто остался одним,  
лестница Якова снится, железная снится дорога.  
Вот он по впадам, по впадам, по впадам гоним  
к точке скрещения рельс, к переменному символу Бога.  
Какется, выше и выше, и выше. И вывел. Осталось немного.  
Красный кирпич. Полустанок стоит перед ним.

Он остановится. Как посох, проросла,  
ветвясь и зеленая, точка схода  
двух параллельных линий. Гарь. Свобода.  
Оживший гравий. Дождь. Куски стекла,  
неотличимые от капель. Сколько глаз  
из мусорной земли взирают на него!

.....

Какую форму примет он сейчас?

Озирался, он встретится взглядом со мною.  
Нет! - я крикну ему - нету здесь ни тебя, ничего твоего!  
Над роелем причал Пастернак, а не поезд. Истаскан

всякий путь по железной дороге, любое  
с ней сравнение — застывшего сна вещество,  
липнет к пальцам, подобное масляным краскам.

Да, книгу он отложит, окуёт  
в небытие расслабленные кисти...  
художник-великий, вещей, движений, истины  
пустынное вместилще и рот,  
готовый прилепиться ко всему, —  
он сам ничто. Ему ни дара слова,  
ни зренья острого, ни разума большого  
природой не дано — лишь окунуться в тьму,  
лишь пить и шлёпать лошадиными губами,  
гонять форель вокзальных дебарей...  
Он примет форму за а ожиданья,  
на рельсах — дехлой конки. И ни где

## НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

Художник слеп. Сорокадневный пост  
 сплетён, как тень висельного моста,  
 из чёрных водорослей и мерцающих звёзд.  
 Он сорок дней не разомкнёт уста,  
 пока пустой реки не перейдёт  
 по досточке колеблемой, пока  
 божьей подошвой не оставит след  
 на зыбкой памяти прибрежного песка —  
 тогда и в нём прозреет память. Лет  
 на тысячу назад он обращает взор,  
 и перед ним — неопалимый куст,  
 и образ Храма светел, как костёр  
 среди бела дня. Но храм пока что пуст.

Краски поухнут. Обвалятся лица святых.  
 Что останется — свободных гиматиев складки,  
 стол да купина, да внезапное пламя в кустах,  
 словно бы кто промелькнул, одинокий и краткий...

Не уследят за движеньем зрачки.  
 Чудится ль что с непривычки?  
 Сослепу? Шурк зажигаемой спички.  
 Боль обожженной руки.

Два времени войдут в единый миг,  
 соединяясь огненным мостом  
 живого языка сожженных книг  
 или собора с убранным крестом, —  
 два времени и сорок сороков  
 любивших братьев, плачущих сестёр...  
 Нет! вера никогда в России не была  
 мгновенным настоящим — но раствор,  
 на миг скрепящий два небития,  
 где сам художник — цепкий материал —  
 распластан по стенам, распаду предстоит,  
 ведь сорок дней он губ не растворял!

...И говорил Бог знает о чём и кому,  
 лишь бы наполнить собор пустые объёмы.  
 Не полутьма нас пугала — но видимый сквозь полутьму  
 остров-кусочек штукатурки, остаток от росписей храма.  
 Там языками эфириным смол  
 куст обращался к пророку,  
 стёртому временем, падшему в реку,  
 что остаётся Иисус...

Пью вино архаизмов. О солнце, горевшем когда-то,  
говорит, заплетаюсь, и бредит язык.  
До сих пор на губах моих красная пена заката,  
всплыв - отблески зарева, языки сожигаемых книг!  
Гибнет каждое слово, но весело гибнет, крилато,  
отлетая в объятия Логоса-брата,  
от какого огонь изгоняемой жизни возник.

Гибнет каждое слово.

В родах библиотек

объяненья былого

тяжелит мои веки.

Кто сказал: катакомбы?

В пивные бреды и в аптеки!

И подпольные судьбы

черны, как подземные реки,

маслянисты, как нефть. Окунуть бы

в эту жидкость тебя, человек,

опочивший в гуманнейшем веке!

Как бы ты осветился, покрывшись пернатим огнём!

Пью вино архаизмов, горю от стыда над страницей:

ино-страница мысль развлекается в мире инои,

иногда оживляя собой отравленные лица.

До бесчувствия - стыдно сказать - умудрилась напиться

мертвой буквой ума - до потери в сознании ноши

семигранных сверкающих кризис очевидца.

В близоруком тумане,

в предутренней дымке утрат -

винный камень строений

и заспанных глаз виноград.

Труд похмелья. Похмелье труда.

Угол зрения энбок и стал переменчив.

Искажающей линзой речи

расплюснены сны-города.

Что касается готики - нечем,

нечем видеть пока что её,

раз утрачена где-то вражда

между светом и тьмой...

Наркотическое забытие

называется, кажется, мною!

Дух культуры подпольной, как раннеапостольский свет,

брезжит в окнах, из чёрных клубится подвалов.

Пью вино архаизмов, торчу на пирах запоздалых -

но ещё впереди, я надеюсь, я верую - нет,

я хотел бы уверовать в пенел хотя бы, в провали,

что останутся после - единственный след

от погасшего Слова, какое во мне полыхало!



Гибнет голос. Зивёт отголосок.  
Щипцы вырывают язык,  
он дымится на мокром погосте средь досок,  
к саногам, распластавшись, прилип.  
Он шевелится, мёртвый, он пьян  
опущением собственной крови.  
Пья вино архангелов, пьянящее внове,  
отдающее сном оцененной любви -  
воскрешенным ран!

## НАТЕРМОРТ С ГОЛОВКОЙ ЧЕСНОКА

Стены увешаны связками. Смотрят сушённый чеснок с мудростью старческой, белым шумит облачением, словно в собрании архонтов судилище над книгою — велест на свитках значков с потаённым значением, стрекот писем насекомых и кашель, и шарканье ног.

Тихие белые овощи зал заполняют собой. Как велестят их блокноты, и губы слегка мелушатся! В белом стою перед ними — но как бы с толпой смеяться вркнуть за чью-нибудь спину, — ведь нету ни шанса, что оправдаюсь, не лягу на стол натерморта слепой.

Итак, постановка. Абсолютную форму кухне гарантирует гипс. Чёрствый хлеб, изогнув глянцевитую спину, белое чеснока, белая верёвка собою составляет картину отрезанного мира. Но слеп

каждый, кто прикасается взглядом к холстяному окну. Страшен суд над веками, творимый художником-Садом. Тайно, из-за спины загляну — он пишет любви завещанье: ты картонными куклами и овощами воевала с распадом!

Но возвратимся, читатель мой. Ветер и шепот сухой. В свитках сушённый чеснок изъясняется эллинской речью. В белом стою перед ними — и что им? за что им отвечу? Да, я прочел и я прожил непрочную чернь человечью и к серебристой легенде склонился, словно бы к нене морской.

Велест по залу — я слышу — но это не старость. Так велестит, исчезая из лодки-ладони моей, нева давно пересохла, ушедших под землю морей. Ирамным облачком пара, блуждающим островом Парос дух натерморта скользит. Оживает и движется перус — там не твоя ли спина, убегавшая смерти Орфей?

и не оглянуться.  
 Но и все, кто касался когда-то  
 бутарфорского хлеба, кто пил  
 пустоту, что кувшином объята, —  
 все, как чёрные губы, сомкнутся  
 в молчаньи художника-брата,  
 недаром он так зачернил

дальний угол стола.  
 Жизнь отходит назад  
 дальше, чем это можно представить!  
 Но одежда Орфея бела,  
 как чеснок. Шелеста и листья —  
 между страницами памяти чёртские бабочки спят —  
 шелеста и листья,  
 на судей он белыми оставит —  
 свой невидящий взгляд